

Куны, Евгений Замятин

Все выше взывает солнце, все беспощадней. Вороха лучей насыпаны в ржаном поле – рожь стоит золотая, жаркая и тихонько, матерински-довольно колышет колосья. Яблоки в садах стали темно-желтыми и качаются, каждый миг готовые отдать кому-то свою сладость. В поповом саду погасли все нежные весенние цветы, горят только красные спелые пионы и пьяные маки. За Куйманским лесом пруд весь зарос темной зеленью, из пруда по ночам выходят русалки и напролет до утра, заломивши руки, тоскуют на берегу; уж поздно, отошло их время, прошла Русалочья неделя, не успели залучить себе парня, девушками останутся еще на целый год. Одна надежда на Ильинские куны: закружатся парни в кунных кругах, завихрят их девки, запутает в серебряную паутину паук-месяц: может, попадет какой по ошибке в русалочий хоровод..

Ильин день – престол в Куймани, ярмарка. Всю ночь скрипят колеса мимо лабаза по крутому взволоку. Лабаз открылся с самого рассвета; желтый, лысый, вышел лабазник Аверьян на порог, ухмыльнулся: телег кругом – сила, как стан татарский заволокли весь базар, торчат вверх оглобли, лошади машут хребтюгами с кормом, руки выплескиваются и опять ныряют вниз рыбой.

Увидали Аверьяна, огарнули: кому деготьку, кому шорного товара, кому замок, кому аспидную доску – ребятам на забаву.

И только, было, руки – целые веники из корявых рук с деньгами – встопорчились перед Аверьяном на прилавке, как уж и закрывать надо: вдарили к обеду.

С сердцем перекрестился Аверьян:

– Ах, ешь твою... Мать Пресвятая Богородица...

Очистил нос направо и налево, застегнул пиджак и лицо – будто застегнутое двенадцатое стало лицо – и пошел в церковь.

За обедней жара, чуть не гаснут свечи, однако же парни в поддевах и в новых резиновых калошах: что поделаешь, дело молодое, всякому покрасоваться лестно.

Ребята вьются, шныряют где-то под ногами, получают подзатыльники, хнычут и, глядишь, опять уж хихикают, неслухи, опять невесть что выкомаривают.

Девки, чинные, дивуются – ведомо на что. Первое – на коровинских баб: бог весть каким чудом уберегли коровинские весь старый наряд и строго его блюдут. Все вместе, островом, стоят в церкви, важные и чудные, и не наши какие-то. Повойники от матерей, от бабок достались, пронизаны серебряной монетой; убрусы шелковые накрахмалены – рогами стоят над головой; поневы нарядны – домотканые, синие, с красной ластовицей, с бахромкой, с узором.

А на другое дивуются девки – на Марьку. Запевала, певунья наша, что с ней случилось! Первая затейница да задорница, и в церкви-то, бывало, на нее угомона нет, а нынче стоит, не шелохнется, у Спасова образа, глаз не

сводит. На белом плате – Нерукотворный Лик, светлокудрый, глаза не поднятые. И молится Ему с жаркой любовью и с ненавистью. И это Его голос из алтаря, повелевающий всем преклонить голову, – и так радостно преклонить перед Ним голову. И это Он в золотых ризах с крестом на амвоне..

Целует Марька холодную медь креста, потом – руку. И такие у ней губы – жадные, сухие, раскрытые, как трещина в бездорожной земле. Рука отдергивается, с дерзкой надеждой Марька поднимает глаза вверх. Но там все тот же на белом плате Нерукотворный Лик.

И вот кончилось, хлынули.

На паперти обступили Марьку. Пестрые, красные, солнечные, говорливые.

– Да неужто же не пойдешь, Марька? Как же мы без Марьки! Уж без Марьки какие же куны?

Звонит веселый колокол. Звонит солнце. Растормошили, отступило что-то назад, проснулась Марька. Кому-то в ответ хочется сделать злое и сладкое, подмигнула плечами и пошла, припечатывая каблуками. Через два шага в третий: эх-эх да эх.

– Постой, постой, на паперти, что ты!

Куда там... за ней – заметелились – подняли кулеберду по всему по селу, докатились вихрем до самой ярмарки. Солнце между скученных оглобель лошади с вымоченными квасом и расчесанными гривами, и нечесаные, как лешие, цыгане около них; берестяные коробки, глиняные свистульки, маковники, неистовые поросята в торбах, бабы – беременные с ребятами на руках.

Какая-то развытная девка свистнула пригоршню жамок в ларьке – и рады все, заливаются: дороже им эти жамки, чем купленные. Завертели по дороге пьяненького дядю, потащили, как русалки, щиплют, хохочут.

Только завернули за Аверьянов лабаз – вот они, парни, ватагой табунят по улице. И уж конечно: верховодит не кто иной – Яшка Гребенщиков, кузнец.

Звонит колокол, звонит солнце. Но все где-то далеко, во сне: церковь, ярмарка, Куймань, гомон, пыль, расписные дуги, синие цыганские жупаны, топот, свист. А жизнь, неспешная, древняя, мерным круговоротом колдующая, как солнце, – здесь на выгоне.

По-над озером, в сторонке, водят свой хоровод девушки-вековуши, все в темных платочках – так уж заведено. Тихонько поют, медленно кружатся в сторонке – тут, под солнцем, такие какие-то слепые, ненужные, умершие. Но так уж заведено. Им свой положен удел – вечным девушкам.

Отпелись вековушки, погасли.

Медленно, еще раздурманенные, вышли на выгон молодые девки и немужние жены – солдатки, все в красных платках, такой уж обычай. Схватились крепким кругом – крепким частоколом оборонились от желанных врагов, от погубителей милых.

Посредине кунного города – ходит гордая царевна Марь-ка: куны налево, Марька направо. Поет царевна звонкую насмешливую песню, закидывает хитрые сети:

Как за городом живут вороги,

Золотой казны у них ворохи,

Нет у ворогов военной головы..

Да ой ли так, разве уж нет?

В «ихнем» стане, у старой лозины, – зашевелились, загорелись; смех, визгнула гармоника.

– Яша Гребенщиков, кому же еще? Он самый! Яшу повеличаем!

Румяный, крепкий, как яблоко боровинка, встряхивает Яша стриженными под польку волосами, идет. Стал на полдороге, отдал поклон.

А Марька, откидывая голову, отдаваясь солнцу, – эх, все равно! – уж новую запела песню. Эх, быстрее, девки, эх, жарче: вороги близко.

У нас в городе царевна, царевна,

По-за городом царев сын, царев сын..

Вот он подошел, подбоченился. Брови крутые, губы – пион. Эх, не одну погубил, лютый..

Веселой, жаркой злобой напряжилось сердце у Марьки. К кому? К Яше? Нет. Что ей Яшка Гребенщиков. Так к кому же? Не скажет о том ни вчерашняя ночь, ни Спасов на плате лик, ни вздрогнувший в руке медный крест.

..Он из тысячи любую выбирает,

Он и белым платочком махает..

Все быстрее кружится солнце, травы и деревья расплываются в жарком дурмане, мелькают по зелени пестрые платья, почти бежит кунный круг.

Эх, жисть, отопрись...

Разорвался кунный город против Яши, стал.

Вот она, царевна наша, бери – отдают, лукаво-покорные.

Быстро поднимается высокая грудь у царевны, и под тонкой красной кофтой – два острых жала – справа и слева.

Опущены веки, но видит, какое вино у Яши в глазах.

Эх, потешиться хоть над этим, замучить, защекотать по-русалочьи – все равно, кто ни попадись по дороге...

Звонит где-то далеко колокол, звонит солнце, кружится голова, поредел кунный круг, пыльно-зеленые сосны сейчас сорвутся с места и ринутся на горячую траву...

Опять Яша да Марька посредине. Кругом него ходит избо-ченясь Марька, дразнит раскрытыми губами, обжигает плечом – и уж далеко, а он с протянутой рукой стоит, жалкий, измученный.

Сидят под кустами по двое и идут к Куймани, по пыльной дороге, обнявшись, по двое, усталые, ласковые.

– Глянь-ко, – говорит Яша, – а ты не велишь, не хочешь.

– Погоди до ночи, – Марька хмурится: «Ах, если бы не Яшка это сказал».

Угарный жаркий день к концу. Тянутся обратно телеги, задешево продают купцы последние платки, коробушки и пряники-козули. Уж на задах где-то, за огородами, курлыкают и бормочут пьяные дяди – никак не найдут избы. Запыленное, разомлевшее солнце качается на самом краю синей чаши и устало смотрит налитым кровью глазом. Дергачи перебегают в душной траве и просят пить, пить.

Да нет ни капли. Хоть бы одна на смех, одна какая-нибудь дождинка.

Ночь. Темное небо, увешанное тяжелыми, горячими звездами.

Пономарь Африканыч, дылда с колокольною – ночью еще выше в рыжей шляпе – добрался-таки до своей завалинки, плюхнулся, смотрит в небо. Да, все пошло не по-человечьи – где же видано, чтобы Ильин день без дождя.

Спешит Марька на кунный выгон. Усмехнулась Африканычу: налился дядя! Эх!

- Сама ты эх! Развытная больно! Плясавица. Из-за вас этаких Илья и дождя не дает. Куда? Али на русалочий хоровод?

Покачиваясь, поплелся за ней. Потерял колею из-под ног, чуть не свалился в Куйманский лог, шел по целине. Да ведь что втемяшится пьяному в башку – ничем не вышибешь: разыскать Марьку, а то погубит себя девка. А девка-то какая: я те дам – девка-то, во!

Лежал, споткнувшись. Трава под лицом, приклепала лягушка. Ах ты, лягва, старуха! Ах, старуха! Похлопал приятельски по спине. Да холодная какая, черт! С нами Бог, разумеете...

Протрезвел как будто. Опять брел наобум лазаря, брел. Донесло-таки. Пруд, пьяные кузнечики орут песни; не то туман белый над-под горой – не то русалки повели свои бесстыдные куну.

Через выгон идут две тени, вытягиваются, все длиннее. Голос Марькин, ей-богу, ее смех злючий, как у русалки. А парень просит. Да, попроси-ка, они тебя поведут, покажут, жилочки все повытянут, и разве тогда уж...

Две длинные тени, обнявшись, скользят по выгону. Но где ж человеки-то сами? Хоть убей – не видать.

Смыкаются усталые глаза, засыпает Африканыч. Две тени молча садятся у старой ветлы, на валу, на остатках старого городища, бог весть какого старого.

Царевна и царев сын.

Царевна смеется и говорит цареву сыну: «Винишься передо мною, винишься, больше не будешь. Ну, ложись, лежи тут, а я на тебя ноги поставлю, нишкни. Будешь тихонько, ну тогда, может быть...»

И долго сидит так. А потом качает царевна головой и плачет тихонько и все громче.

Вскакивает царев сын и засыпает ее поцелуями, как свадебным хмелем.

- Да как ты смеешь! – кричит шепотом царевна. - Да ты знаешь, о чем я? Я тебе велела тихо лежать, а ты что! Уходи, и смотреть на тебя не хочу!

* * *

Пустеет кунный луг. Смело выходят русалки и до утра, заломивши руки, тоскуют на деревьях, кличут, плачут малыми ребятами – быть им в девушках еще целый год.

Но никто не идет. Позаснули все в Куймани.

Медленным чародейным хороводом обходят вокруг ветхих избушек летние сны и все позволяют. Жаркое девичье тело, белея, раскидывается в темноте и отдается – кому хочет: все можно во сне.

Сладким медленным хороводом плывут летние сны, а к утру белыми хлопьями собираются над озером, из белого свивается прозрачная девушка, и около нее цветы молчат и птицы. Смотрит она утренними глазами на чуть мигающий золотом крест колокольни, медленно поднимается вверх и розовеет от подслушанных ночью снов.

Эх, сны! Милый, безумный мир – единственный, где люди свободны.

1922